

АЛЕКСАНДР КАЗАРКИН

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕОРГИЯ ГРЕБЕНЩИКОВА

Из *возвращенных писателей* он, кажется, возвращается последним. Когда-то его называли Баяном Сибири. В литературу беженцев, не в эмигрантскую мысль, он вписался раздумьями о России в целом, но всегда привлекал читателей изображением сибирской жизни. При жизни писателя последняя книга на родине вышла в роковом 1917 году, и к концу XX века прибавилось лишь два издания: избранные произведения (Иркутск, 1982) и “Гонец” (Москва, 1996). Лед тронулся с началом нового века: изданы книги “Былина о Микуле Буяновиче” (Москва, 2002), “Моя Сибирь” (Барнаул, 2002), “Избранное” в 2-х томах (Томск, 2004), “Егоркина жизнь” (Барнаул, 2005), “Чураевы” – в 4-х томах, в каждой книге – по два романа-тома (Барнаул, 2006–2007). Наконец-то восстановлением памяти, штопкой прорех литературной истории занялись сами сибиряки.

“Широка и необъятна сибирская земля, так широка и так необъятна, что не пришел еще певец, чтобы воспеть ее и изобразить ее величие”. Это начало седьмого тома романа “Чураевы”. Первым изобразителем величавых пространств северной Азии назвали Гребенщикова эмигранты. А. Куприн признал в нем продолжателя школы реалистов. Впечатляющие слова обронил Ф. Шаляпин: “Когда я читаю “Чураевых”, я горжусь, что я русский, и сожалею, что не сибиряк”.

Энциклопедии и справочники указывают разные годы рождения Георгия Дмитриевича Гребенщикова: 1882-й, 1883-й или 1884 год. Недавно из Америки в Барнаул перевезен архив писателя, и в нем есть документ: “Краткие биографические сведения о Г. Д. Гребенщикове. Записано со слов Татьяны Денисовны Гребенщиковой”. Сразу после смерти писателя, в 1964 году, жена продиктовала: “Георгий Дмитриевич Гребенщиков родился 23 апреля 1884 года в Сибири в маленьком селении под названием Николаевский Рудник, затерянном в предгорьях Алтая”. Сейчас, увы, это Казахстан (близ Усть-Каме-ногорска), в то время Бийский уезд Томской губернии.

Сам он сообщил в автобиографии о своих азиатских корнях: “дедушкин дед был калмыком”. А “белыми калмыками” называли алтайцев. Из-за крайней бедности ему не удалось закончить даже начальную школу, но в Америке он стал доктором философии, преподавал русскую историю и литературу. С десяти лет пришлось работать – и в аптеке, и санитаром в больнице, и помощником лесничего, и писарем в суде, и письмоводителем у адвоката. Ше-

стнадцатилетний Егор лучше следователя оформлял дознание, так что юристы заметили: писмоводитель-то — беллетрист. В Семипалатинске двадцатидвухлетний корреспондент местной газеты выпустил сборник рассказов “Отголоски сибирских окраин”. Дальше начинающий писатель редактировал в Омске газету и за ее “вредное направление” оказался в тюрьме, правда, не надолго. Но это была рекомендация в самое известное периодическое издание Зауралья — в газету “Сибирская жизнь”.

В 20-е годы, уже в эмиграции, писатель вспоминал: “Я жил в Омске, где редактировал небольшую газету “Омское слово” и откуда направился в Томск со специальной целью познакомиться с литературным миром сибирской столицы, а главное, с Г. Н. Потаниным”. Наставник сибирских областников стал опекать молодого писателя из крестьян, советовал стать вольнослушателем университета и заняться этнографией. У патриотов Сибири, учил бывший казачий сотник, прошедший каторгу, неотложные задачи: освободить родной край от колониального состояния, развивать культуру сообразно климату и традициям местных народов. От него у Гребенщикова неприятие декадентского уклона: “. . . разрушить пагубный пессимизм российской литературы, которая, по моему глубокому убеждению, накликала на нашу общую судьбу множество совершенно ненужных несчастий”.

В Томске Гребенщиков впервые оказался среди литераторов. Ирония в его адрес, при обсуждениях в группе “Молодая Сибирь”, уязвила самоучку. Он должен был решить, стоит ли писать дальше. Эти колебания толкнули его в 1909 году в Ясную Поляну. Лев Толстой благословил: “Не сомневайтесь и продолжайте. . . Хорошо то, что у вас здоровая идея, а без идеи разве есть смысл жизни?..”

Автор “Войны и мира” был для него опорой в создании романа эпопейного размаха, но поначалу более сильным оказалось влияние Потанина. А идеолог областничества считал, что учителями сибиряков не могут быть ни Толстой, ни Достоевский, ни Тургенев. Литературная Сибирь не должна-де быть эхом столичных журналов: там не могут достоверно изобразить чалдона. Задача эта поручалась Гребенщикову, Шишкову, Новоселову. Это надежда и опора группы “Молодая Сибирь”, а судьбы у них оказались разные. Много обещавший Александр Новоселов успел создать одну повесть — “Беловодье” — и погиб в Омске накануне колчаковского переворота. Вячеслав Шишков закончил жизнь лауреатом Сталинской премии. А Георгий Гребенщиков, не принявший большевиков, больше сорока лет жил на чужбине.

В 1912 году он редактировал газету “Жизнь Алтая”, не имея документа даже о начальном образовании. Всё решила рекомендация “большого сибирского дедушки” — Потанина. Потом, в эмиграции, он вспоминал о его наставничестве: “Быть может, он уловил во мне ту первобытную нетронутость народной почвы, на которой лучше прорастают его семена. Я был моложе всех, я был настоящий выходец из простой среды и, по его мнению, мог вспыхнуть настоящим пламенем его идей <. . . > И, наконец, когда вышли первые мои книги сибирских рассказов, я получаю в Петербурге письмо от Г. Н. Потанина, из которого отчетливо помню очень взволновавшие и смутившие меня строки: “Знамя Ядринцева лежит не поднятым, и я думаю, вы должны его поднять и понести в будущее”.

Дела Гребенщикова в предреволюционные годы пошли блестяще. В Петербурге вышло двухтомник “В просторах Сибири”, затем книги “Змей Горыныч”, “Степь да небо”. Столичная печать отзывалась о сибиряке с похвалой, а влиятельная газета “Русские ведомости” направила его корреспондентом на фронт. Первый том романа “Чураевы” он дописывал в лазаретах и землянках. Рядовой сорокалетний доброволец обслуживал вначале окопные бани, а потом его бросили на борьбу с тифом. Гражданскую войну писатель пережил в Киеве и в Ялте; в новых местах он добывал на жизнь физическим трудом и всюду — в Турции, в Болгарии, во Франции, в Германии, позднее в Соединенных Штатах — строил дома. Первый номер журнала “Современные записки” открывает роман “Чураевы”. Во Франции же вышло первое собрание сочинений, шеститомное, а в 1924 году при содействии Н. Рериха Гребенщиков уехал в Америку.

Росло ли мастерство Гребенщикова после сорока пяти лет? Один из критиков русского зарубежья (М. Бенедиктов) утверждал: “Творчество Гребенщикова созрело и окрепло в эмиграции”. Но окрепла, пожалуй, лишь публи-

цистика, а стиль сложился раньше. Бунин, с которым Гребенщиков познакомился еще в Киеве, трезво предупреждал: в литературном захолустье Америки он не сможет развиваться. Для самоучки это большая опасность.

Ему ли, крестьянину, бежать от своего народа, и что делать реалисту этнографической школы в эмиграции? Такой вопрос и задал ему Есенин в Берлине: как ты здесь оказался? Ты же, мол, не белая кость, а наш брат Ерёма. Да, бытописателю никак нельзя без любви к народу, а он увидел взбесившуюся массу: “Изнасиловали волю и убили понятие о справедливости — да здравствует! Потеряли сердце, душу, совесть — да здравствует! Изнасиловали чужих жен и дочерей, прокляли отцов и матерей, предали друзей, растлили детей — да здравствует! Пошли войной и лютой казнью брат на брата — да здравствует!” Это из “Былины о Микуле Буяновиче”, после издания которой имя его зазвучало громко. Эмигранты назвали эту большую прозаическую балладу настоящим откровением о русском простачке, соблазненном кровавыми посулами.

Первой задачей для птенцов “потанинского гнезда” стал поиск положительного героя. Еще в ту пору, когда борьба за Сибирский университет была в разгаре, Потанин заметил: “Роман из жизни интеллигентных людей в Сибири не имеет до настоящего времени необходимой для него почвы <...> попытки создать его неизбежно будут неудачны” (“Роман и рассказ в Сибири”, 1875). Сибиряк, получивший образование в столице, должен возвращаться в родную глухомань. Здесь его ждет террор среды — чиновничьей и купеческой. А в каторжных местах стыдно предаваться элегическим воспоминаниям в тургеневском духе. Редко встречаются у Гребенщикова положительные героини-интеллигентки: из-под маски благообразия обязательно выльнет животное. Человек деятельный, крестьянского корня, выйдя из глухомани, вглядывается в большой мир и мыслит, как толстовский дядя Ерошка: “Фальшь одна”. Таков его герой. Особо отметили критики “бестиальность” его мира; Толстому и Бунину также ставили в вину “недоверие” к культуре. Критики, ориентированные на модернизм, говорили о Гребенщикове как о “тяжеловатом” художнике, владеющем только простой, докультурной жизнью. Но такова уж Сибирь в глазах европейцев.

Вслед за Потаниным прозаик считал, что мир больше всего ждет сибирскую эпопею. Заметим: “Беловодье” А. Новоселова, “Чураевы” Гребенщикова и “Ватага” Шишкова — самые значительные создания сибирской прозы на грани 10–20-х годов XX века — посвящены старообрядцам. Этот осколок допетровской Руси деспотически охранял традицию. Искатели воли, традиционалисты и бунтари, они открещивались от машины: “Чур меня!” Героев своих Гребенщиков наделил комплексом блудного сына, но возвращение к родному пепелищу становится всё менее вероятным.

Первый том (“Братья” — о нравах патриархальной среды) — несколько затянута экспозиция, но вдруг, срываясь, сюжет устремляется к трагедийным массовым сценам. В романах “Спуск в долину”, “Веления земли”, “Трубный глас” (вторая, третья и четвертая части “Чураевых”) ощутимо влияние идей Н. Рериха. Скорее всего, оно и помешало воплотить первоначальный замысел двенадцатитомной панорамы Сибири. Заветная мысль героев Гребенщикова: соединить веру предков с современной цивилизацией. Оказалось: это книжная утопия. Через два поколения В. Шукшин, В. Астафьев и В. Распутин будут варьировать образ-символ блудного сына для создания типа антигероя и героя с трагической судьбой.

“Чураевы” — одна из вершин региональной эпопеи. Классические образцы жанра — дилогия П. Мельникова-Печерского о поволжских староверах (“В лесах” и “На горах”) и два романа М. Шолохова о Доне — посвящены драматической судьбе субэтносов — кержакам и казакам. Не много равных Гребенщикову по точности изображения тайги, гор, степей и пашни. Он язычник, животное-стихийная жизнь у него подлинная, и конфликт природы и культуры укрупнен по-толстовски. Есть и философ в его мире. Василий Чураев, богосекретарь из кержаков, ищет религиозную истину, идет путем интеллигентских искушений и возврата домой, к роду. Но, в отличие от толстовских героев, к слиянию с народной стихией он уже не стремится: слишком много видел он сцен вандализма. Сцены зверства потрясают, но космизм снимает чувство безысходности, остается надежда на возврат к нормальной жизни. Не нашел Чураев “всемирного братства” после отречения от веры отцов, а раздумье о

гибельном уклоне истории возвращает его к “византизму”. Был он и богословом, и путешественником, и хлеборобом, и каторжником, и санитаром на фронте, и корреспондентом. И постепенно понял он, что все это – цепь искушений, против которых у предков был иммунитет, а он его утратил.

Критик Г. Адамович, откликаясь на появление в Париже собрания сочинений Гребенщикова, заметил, что его крестьянские типы “чуть-чуть пейзаже”. Это верно лишь отчасти, его ранние повести заставили говорить о жестоком таланте. “Былина о Микуле Буяновиче” позволяет догадываться, как хотел автор завершить свой роман-реку. Последний, двенадцатый, том “Чураевых” назывался “Построение храма”. Обезумевший, преступивший все запреты Микула Буянович сам себе сделал “укорот”. Интересно замечание В. Распутина по поводу внутреннего предела как лейтмотива прозы Гребенщикова: “Микула Буянович, побуянив вволюшку на родных просторах, опаленных смутой, споткнулся-таки о свое безумие и воззвал к Богу <...> Финал “Былины...”, совсем как беловодские грезы о земле обетованной с белыми храмами и нежным колокольным звоном, под которым мирно пасется раскаявшийся народ, кажется чересчур благостным, но Гребенщиков и не видел иного спасения для народа, кроме как вернуться к вере предков и укрепиться в ней до полного национального звучания”. Род распадается, жизнь без корней становится обычаем, отклонения замещают норму, но перешагнувший все запреты человек может спохватиться.

В первой части большого романа (“Братья”) Василий остается второстепенным персонажем, мир видит Викул, впервые вырвавшийся из тайги в город. На втором плане Василий и в тех частях хроники – “Сто племен с единым”, “Океан багряный”, “Лобзание змия”, – в которых в центре исторические потрясения. Потанин боялся подчиняющего влияния классиков, а у Гребенщикова возникла мотивная переключка с “Братьями Карамазовыми”. Она неизбежна для семейного романа. Василий Чураев проходит путь исканий, какой предстоял Алёше Карамазову, а возвращаться ему некуда: родное превратилось в чуждое. По сравнению с романом Достоевского, в “Чураевых” усилен мотив родового греха. За преступления отцов рассчитываются каторгой и Ерёмка-мясник, и Викул, Василий. Гребенщиков подхватил славянофильский покаянный мотив: “Не говорите: то былое, то старина, то грех отцов...” (А. Хомяков). Очень сильна у него тема национального греха. Очень важна она для итогов XX века. В. Шукшин утверждал: “народ всегда знает правду”, но как быстро многие в этом усомнились. Советские прозаики писали родовую сибирского большевизма, а вот В. Шукшина заинтересовала судьба потомственного крепкого крестьянина, которому нет места на родной земле. Основная тема романа “Любавины” – превращение главного работника на земле в изгоя: “Егор Любавин оказывается в стане врагов – остатков армии барона Унгерна, которая осела в пограничной области Алтая, где существовала почти до начала тридцатых годов” (“Молодежь Алтая”, 1 января 1967). Судьбу глубоко русского человека, трагического героя гражданской войны, Гребенщиков разглядел едва ли не первым. Полвека писатели-сибиряки не могли читать зрелые романы земляка. А в них узнаются последние отголоски утопии руссоистского типа.

Так кто же больше всего повлиял на Гребенщикова? Потанин был атеистом, Толстой – богоискателем-еретиком. Размышляя о своем пути, прозаик сказал: “Ни Горький не заразил меня безумством храбрых, ни Лев Толстой, одобрявший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, и ни Г. Н. Потанин, надеявшийся, что я подниму ядринцевское, т. е. его, потанинское, знамя, – никто не сделал из меня своего честного последователя”. В этой исповеди писатель не точен: в 20-е годы он подхватил рериховское знамя, но, похоже, также не остался верным знаменосцем. Теософия его не увлекла, крестьянская завкаса отторгла беспочвенные оккультные мотивы. От Рериха принял он миссию Гонца, но рано или поздно должен был ответить на вопрос: а чей же он гонец? Апостола внехристианского экуменизма? Василий Чураев – во многом автопортрет, после долгих исканий он пришел к старообрядческой апокалиптике. Ни малейшего веяния оккультизма нет в повести “Егоркина жизнь”, а она создавалась как литературное завещание.

В книге “Моя Сибирь” от сотворения дремлющая Северная Азия стала центром преображения мира, на нее возложена миссия просветления заблудшего человечества. Это не периферия, не окраина, а котел племен, где вы-

варивается самая жизнестойкая культура: “Сибирь – это такое географическое место на земном шаре, где должно возникнуть теснейшее культурное единение самых великих наций и где дружно протянут друг другу руки Восток и Запад”. Основные идеи книги “Гонец” – духовно-строительные. В творчестве эмигрантов усилен мотив оборванной идиллии, но теплится надежда на восстановление жизненной нормы. До В. Шукшина сибиряк-эмигрант размышлял, как “собрать нацию заново”. Тут повеяло руссоистской утопией: согласно теории этногенеза, народ не может вернуться в пройденную фазу.

Каковы шансы сохранения традиционных картин мира, – для тех, кто все-речь думает о вкладе Сибири в мировую культуру, это не праздный вопрос. Размышляя о возможности оригинальной литературы в Северной Азии, нельзя миновать тему творчества аборигенов. Огромное фольклорно-мифологическое наследие так и осталось невостребованным, как не был, в сущности, реализован в большой литературе “куперовский” сюжет. Гребенщиков рано выделился особым интересом к жизни аборигенов. Здесь ему тоже виделся грех отцов-первопроходцев. Один из заветов Потанина: настоящую сибирскую литературу нельзя создать без опоры на наследие аборигенов.

Нужен новый взгляд на освоение Сибири. Равен ли наш опыт “вкладу” европейцев в Северной Америке? И насколько корректно тут и там мелькающее слово “фронтир”? Этим модным словом, американской калькой, хотя заменил давно принятый термин “колонизация”. Да, освоение Сибири завершило тысячелетнее движение русских на восток, и об этом не без гордости сказал Гребенщиков в книге “Моя Сибирь”, в Америке же был геноцид.

Оставив свой большой роман недописанным, прозаик отдал последние силы исповедальной повести. “Егоркина жизнь” – поэзия векового, уложившегося крестьянского быта. Нечто близкое создал позднее писатель другого поколения, Василий Белов – поэму лада, завет поколениям, оторванным от земли. Если искать шедевр литературы о крестьянской жизни – вот он. Культура, зависящая от чувства земли, из мегаполисов уходит на окраины. Только провинциал, как говорил Шпенглер, еще “стремится воскресить жизненный стиль прошедших времен”, но вынужден “отказаться понять историю, пережить историю, творить историю”. Печальный итог века: прежде основной герой, работник на земле, объявлен маргиналом.

В “Егоркиной жизни” спрессованы три эпохи жизни: детство, отрочество и начало юности. Итоги жизни Гребенщиков извлекает в сопоставлениях, смысл ищет в контрастах: “...еще на руках матери впервые увидел Егорка небо – не в звездах, нет, а в весенней луже. И как он его увидел? Увидел таким, каким должно быть или оказалось Царствие Божие на земле, ни больше, ни меньше... он увидел и всем своим малолетним существом приник к земле, босыми ногами прошел по родной пашне и еще бессознательно взял от нее плодородную любовь и мудрость простоты... Глаза его увидели весь мир. Вест мир в грозе и буре, в огне великих войн и в кровавом море революций”. Как ни богата традиция автобиографической прозы, “Егоркина жизнь” – одно из самых заметных явлений в ней, она достойна изучения в школах хотя бы Сибири и рано или поздно станет общеизвестной.

Долгое время Георгий Гребенщиков был центром притяжения русских литературных сил в США. Его наследие заставляет размышлять, снята ли к началу XXI века миссия Сибири. Как говорит Л. Гумилев, “идет демографический спад, после которого остаются периферийные субэтности, минимально связанные с главной линией”. Возвращение Гребенщикова началось, дальше будет уточняться его место в большом контексте. Надо осмысливать уроки его непростой судьбы. О романе “Чураевы” уже говорят как о вкладе в русскую и мировую литературу. Критики допотопического круга задавали один вопрос: кто в этой провинции похож на столичное “светило”, кто “сибирский Карамзин”, а кто “сибирский Гончаров”. Тем самым стимулировали вторичную словесность. Но литературная история региона интересна, если в ней проявилась оригинальная художественная школа. О ней грезил областники, а вот была ли она в Сибири, утопия это или проект, – это остается открытым вопросом. Но если искать зачатки сибирской картины мира, в первую очередь надо читать Гребенщикова.